



Н. Н. ФИРСОВ

Петр I Великий, Московский царь и император Всероссийский

(личная характеристика)

Личность Петра Великого не так проста, как мы привыкли ее себе представлять.

То, что в этой личности сразу бросалось в глаза, действительно просто — склонность Петра к физической работе, его практическая сметливость и сноровка, его веселость, кажущаяся прямота и чисто стихийные порывы в выражении ласки и гнева, склонность этого человека к простой жизни и к грубым шумным удовольствиям, к близкому общению с простым людом, — все это в царе, слишком громко и открыто заявлявшее о себе, весьма упростило образ того, кого называют преобразователем России. И в нашем воображении особенно крепко засело представление о Петре, как о «царе-плотнике», «мастеровом», как о «моряке» с «матросским аппетитом» и проч., к чему как-то больше подходила необычная для царя повадка, и вообще, вся простецкая обстановка жизни этого государя. Разумеется, отмеченное представление имеет свои резоны: черты, которые оно обобщает, стереть нельзя, они вполне соответствуют действительности и должны войти в характеристику личности Петра, но не будет ли характеристика гораздо проще оригинала, если мы остановимся на подборе черт, сразу для всех заметных?

В личности Петра I, как и в личности каждого человека, соединились разнообразныe особенности, из коих иные не кричат о себе, а иные хотя и сейчас же заметны, но далеко не сразу постигаются в своих настоящих причинах, только и способных дать об этих особенностях правильное понятие. Поэтому мы постараемся, не игнорируя наиболее распространенного представ-

ления о Петре Великом, выяснить и те черты его личной психологии, которые оставались в тени.

Интересно и поучительно всесторонне понять этого человека, с детства на всех нас производившего сильное впечатление своим гигантским ростом (без двух вершков сажень!), — своею необыкновенной силой, жестокостью, всей своей гордой и величественной осанкой, повелительным суровым выражением красивого, но немного грубоватого круглого лица, обрамленного откинутыми назад густыми, вьющимися волосами...

Уже с самого своего рождения (в ночь на 30 мая 1672 г.), Петр обещал быть физически выдающимся человеком: новорожденный ребенок оказался великаном — 11 вершков в длину и 3 вершка в ширину. Он не пошел ни в своего отца, царя Алексея Михайловича, ни в деда по отцовской линии, — людей, не отличавшихся крепким здоровьем и вообще представлявших иной тип личности.

Как весьма многие замечательные люди, Петр унаследовал внешние и внутренние особенности материнского рода. Это было и хорошо, и плохо. В роде Нарышкиных был большой запас здоровья, много подвижности, энергии и настойчивости: это было, разумеется, хорошо, но необыкновенная живость темперамента нередко переходила в легкомыслие, и не далеко ходить — сама мать Петра, Наталья Кирилловна, хотя и отличалась, по свидетельству князя Куракина, «добродетельным темпераментом», все-таки была женщина «легкого ума», как аттестовал ее тот же современник в своей известной «Истории о царе Петре Алексеевиче». Эта последняя черта заявляла о плохой стороне наследственности по матери. Дальнейшее покажет, что Петр унаследовал не только положительные, но и отрицательные черты Нарышкиных, и многие печальные особенности его поведения, помимо других причин, должны быть объяснены и несовершенствами его нарышкинской природы. Покойный царь Алексей Михайлович, души не чаявший во второй своей юной супруге, все свои лучшие отеческие чувства перенес на ее сына. Недолго пришлось царю лелеять Петра, оставленного им сиротой по 4-му году; но и в этот небольшой срок отцу удалось много сделать для развития в сыне первых детских вкусов, чему весьма содействовало то обстоятельство, что крепкий ребенок изумительно быстро встал на ноги, начав ходить, когда ему исполнилось полгода. Игрушками и забавами, окружавшими раннее детство Петра, развивались в нем преимущественно военные вкусы, и в этом ничего нет удивительного, не только вследствие естественной склонности мальчиков к играм в солдатики, но и вследствие того,

что, после церковности, — представления о войне и врага одолениях — это тот моральный воздух, которым то нехотя, то с охотой — смотря по темпераменту — дышали московские государи первой и второй династии. Если когда-то царь Иван Васильевич, спрошенный Баторием¹ о том, какие подарки он желал бы от него получить — уже почти старик, поговаривавший иногда о принятии «ангельского чина», признался, что он больше «охотник до аргамаков, до жеребцов добрых, до шапок железных с наводом, пищалей ручных» — то было слишком в порядке вещей, что маленького царевича Петра близкие ему люди дарили «потешными лошадаками», «карабинами», «пистолями», «барбанцами», «булавами» и т. п., а царевич оказался «охотником» — и большим — до всех этих вещей. Подобных игрушек скоро накопилось очень много, и царевич мог забавляться ими вместе с приставленными к нему в достаточном количестве сверстниками, которые и явились первыми потешными солдатами Петра.

Эти самые ранние игрушки и игры были семенами, упавшими на очень благодарную почву: они-то и пустили первые и весьма жизнеспособные побеги необыкновенной любви Петра именно к военному ремеслу; по свидетельству современника Крещина, маленький царевич не интересовался никакими забавами, кроме военных. Ранним физическим и умственным развитием он, по-видимому, значительно опередил своих ровесников, — «робятки» скоро ему наскучили, и их пришлось заменить взрослыми «робятами», из которых, по повелению царя, был набран полк со знаменем, в зеленом мундире, вооруженный настоящим ружьем и названный «Петров полк», по имени своего воинственного полковника по 4-му году от роду. Но царь Алексей Михайлович позаботился не об одних забавах для своего сына, он же положил начало и правильному военному обучению его, успев назначить к нему в качестве военного наставника шотландца полковника Менезиуса, который состоял при нем и после преждевременной смерти царя Алексея, вплоть до захвата власти царевной Софьей. Таким образом уже с самого раннего детства в воспитании Петра, слагавшихся из военных потех и обучения, были налицо те элементы, которые потом приписывались исключительно влиянию Немецкой слободы: военное дело и иноземцы. Правда, позднее, в период общения Петра с Немецкой слободой, означенные элементы в его жизни были представлены в усиленном и даже утрированном виде, но намечены они были еще в ту пору, когда маленький Петр находился под ласковым попечением своего разумно-благодушного отца и его вкусивших

от заморского плода советников. Брат Петра, царь Федор, не лишая его военного обучения, добавил к нему обучение грамоте; но достоин внимания тот несомненный акт, что с военными упражнениями ребенок познакомился раньше, чем с букварем. Обучение грамоте начато было, когда Петру доходил 5-й год (12 марта 1677 г.). Необыкновенно острая память позволила царевичу весьма быстро и легко проходить мало занимательный путь тогдашней «науки книжного научения», где и букварь, и Апостол, и Евангелие являлись какими-то неподвижными заграждениями, которые надо было брать приступом на зубок. Для любознательного, но и чрезвычайно живого мальчика одно зубрение и выведение по «царевичевой буквари» (прописи) литер на бумаге было бы безнадежно скучно, если бы указка Зотова ограничилась только этим; но «царевичев» грамотей, по-видимому, инстинктивно, прирожденным педагогическим чутьем понял, как сделать для непоседливого ученика занимательной учебу. Читением Петру разных «историй» о храбрых и мудрых царях, показываньем ему «потешных» книг с «кунштами», рисунками, — занятиями, практиковавшимися собственно не в учебное время, — значительно расширялся круг учения, и оно делалось более осмысленным и интересным; ибо в этих, как бы частных занятиях, ученику незаметно уяснялась цель, ради коей столь скучными способами осиливалась грамота: получение возможности самому узнавать из книги все то, что делалось и делается на Божьем свете. Но Зотов, присоединив к механическим способам учения психологические, стремившиеся заинтересовать и образовать ребенка, не ввел чего-либо нового в детскую комнату Петра. Здесь уже раньше в числе игрушек, бывших главным образом военными, были и «потешные» иллюстрированные книжки, тетради и гравированные картины, так называемые «Фряжские листы» самого разнообразного содержания, не только сказочного, но и географического и исторического, рассмотрение которых увеличивало запас понятий и вообще развивало ребенка. Зотов лишь воспользовался «потешным» образовательным материалом детской Петра и превратил ее в класс наглядного обучения — по картинкам. Ознакомление Петра с русской историей велось по специально для этой цели приготовленной книжке с иллюстрациями, по «царственной книге в лицах». Таким образом, видим, что начало той безграничной любознательности, которая всех поражала в Петре (в частности его интереса к русской истории) тоже было положено еще во время раннего его детства. Образование Петра, при средствах тогдашней педагогики, в общем было начато правильно, но оно быстро

кончилось, и потому младший сын царя Алексея, если «остро прочитал» «наизусть или памятью» «все Евангелие и Апостол», то в отношении письма, *требовавшего гораздо большего времени для усвоения*, остался недоучкой. Военное дело, начатое раньше обучения грамоты, дало до 1682 года более прочные результаты, чем уроки Зотова, почему после трагических событий означенного года Петр легко и охотно встает на военную дорогу, направление которой указывалось, а потом оправдывалось обстоятельствами. В период времени от того момента, когда он впервые покинул колыбель для «потешной лошадки» и «барабанца», до момента, когда услышал неистовый грохот стрелецких барабанов и увидел кровавую потеху стрельцов, Петр развился так, как не развиваются обыкновенные люди, — и физически, и умственно. 10-летний мальчик казался 15—16-летним юношей, невольно приковывавшим к себе взор своей внешностью. Это был курчавый, черноволосый отрок, по виду старшего возраста, с искрившимися природным умом, большими глазами; цветущим здоровьем так и веяло от его свежего румяного лица и крепкого стана; быстрота и какая-то беспокойная порывистость движений изобличали в нем сангвиника с повышенной нервной возбудимостью.

Действительно, еще в раннем детстве замечалась некоторая торопливость и нетерпеливость в его поведении. Необыкновенная живость и подвижность ребенка однажды поставила Наталью Кирилловну, наблюдавшую через небольшое отверстие в двери церемонию посольского приема, даже в неловкое положение, когда маленький Петр, стоявший рядом с матерью, неосторожно навалившись на дверь, растворил ее; так, по крайней мере, рассказывает современник, подавший тем повод историкам в этом анекдоте видеть как бы прообраз будущей роли Петра по открытию дверей древнерусского терема. На основании подобных рассказов, внутренняя художественная правда которых едва ли может подлежать сомнению, достаточно было бы сказать, что Петр от природы обладал чрезвычайно живым, но в то же время и весьма нервным, крайне легко воспринимающим впечатления бытия темпераментом. Если это так, то легко можно представить себе то впечатление, которое произвели на 10-летнего Петра разыгравшиеся перед ним кровавые сцены во время стрелецкого мятежа², когда он стоял рядом с матерью, на этот раз на Красном крыльце. Говорят, что маленький Петр не изменился в лице; этому, разумеется, трудно поверить, да едва ли кто в тот кровавый момент резни и страха за свою собственную шкуру мог заметить чужое настроение, хотя бы и царское; правильное ду-

мать, что и маленький Петр был тогда объят ужасом вместе со всеми другими; во всяком случае именно тогда он *научился бояться*. Так приходится думать, принимая во внимание позднейшее отношение Петра к зверской расправе стрельцов *с близкими к нему людьми*, и прежде всего с баловавшим его подарками добрым дедушкой Матвеевым. Никогда в течение всей жизни Петр не мог забыть этих кошмарных минут, заложив в его душу восприимчивость к страху, они в воспоминаниях воспитывали в Петре чувства, идущие рука об руку со страхом, — чувства ненависти и мести. Кровью был облит порог жизни Петра, как ртуть, подвижного мальчика, с доверием смотревшего на мир широко раскрытыми, любознательными глазами, в которых мелькнул ужас, — и эта столь много обещавшая жизнь была испорчена. Потому и была испорчена жизнь, что уже в детстве в душу Петра залегли тлетворные чувства — страх и злоба, послужившие началом порчи его личности.

Дальнейшие события действовали в том же направлении порчи и усилили ее до весьма значительных размеров, — тем более, что обстоятельства, так или иначе потрясавшие личность Петра в юношескую пору, находили себе мощного союзника в самом быте и политических привычках Московской Руси, сильно отдававших вином и кровью. Первый влиятельный пестун Петра в жизни (а не в школе) — князь Борис Голицын, начавший водить знакомство с иноземными офицерами и купцами и «склонивший» и юного опального царя «к ним в милость», был человеком «ума великого», «но пил непрестанно», не говоря уж о том, что по утверждению все того же, сделавшего эти сообщения, князя Куракина, князь Б. Голицын был «великий мздоимец, так что весь Низ³ разорил», т. е. обладал тоже очень типической и ярко выраженной в этом близком к Петру лице особенностью высших служилых людей Московской Руси. Мудрено ли, после этого, что Петр, составивший себе компанию из понравившихся ему обитателей Немецкой слободы и русских своих приближенных, быстро вошел во вкус разгульной жизни, в которой «дебошество» и «пьянство великое» были постоянными спутниками и дела, и безделья. Наследственное нарышкинское легкомыслие, несомненно, сыграло в этом «дебошестве и пьянстве» свою роль. События у Петра оказались хоть куда, их приходилось ему не угощать, а скорее сдерживать, но, по-видимому, так же безуспешно, как и самого себя впоследствии, когда болезненное состояние потребовало воздержания. Во главе иностранцев стоял известный Франц Лефорт, по определению кн. Куракина, «дебошан французский», в доме которого, помимо «дебоша с да-

мами», происходило и «питье непрестанное», от чего Лефорт и умер преждевременно; во главе русских поклонников Бахуса стоял, кроме «непрестанно пьющего» князя Б. Голицына, другой князь — Ромодановский, который, согласно аттестации, выданной ему князем Куракиным, тоже «любил пить непрестанно». Да и другие, младшие члены компании, те, которых поэт назвал «птенцами гнезда Петрова», не хуже старших подружились с «Ивашкой Хмельницким», как Петр на своем колоритном языке величал хмельное питье; оно продолжалось частенько дня по три подряд без выхода из дома Лефорта, и многие в отчаянной борьбе с «Ивашкой» навеки складывали свои пьяные головы; у самого Петра голова уцелела, но стала трястись. Спору нет, что потрясение, которое испытал Петр в детстве, и другое, которое он перенес в юности, когда в паническом страхе, оставив жену с сыном и мать, бежал прямо с постели сначала в ближайший лес, а потом в Троицко-Сергиевскую Лавру, — подготовили почву для постигшей Петра нервной болезни, но едва ли можно сомневаться и в том, что возникла она от безумных, можно сказать, смертельных оргий, которым предавался в юности Петр со своей компанией. Борьба с сестрой и стрельцами все время держала Петра в состоянии страшного напряжения всех душевных сил. Как ни были они велики, но они были не безграничны и по временам подавались; тогда-то на помощь и приходил веселый и несущий забвение «Ивашка», с которым обыкновенно расплачиваются впоследствии.

Оргийное состояние притупляло обычную человеческую чувствительность нервов, и психика на время настраивалась на холодно-жесткие тоны, совершенно глухие к человеческому страданию. Петр сам хорошо понимал эту зависимость между непробудным, «непрестанным» пьянством и кровожадной свирепостью, когда, пораженный зверством шефа своего застенка, писал ему: «Перестань знаться с Ивашкой, быть роже драной». Петру, однако, было невдомек, что и сам он в сущности действует по тому же рецепту, топя в вине постоянно жившее в нем внутреннее опасение и инстинктивно ища в шумном разгуле с компанией подкрепления для дальнейшей борьбы не на живот, а на смерть. Так, в самые лучшие, юношеские годы в жизни Петра и шли рука об руку вино и кровь, все более и более портя характер этого человека, далеко не лишеного природной доброты, но от жизни становившегося с каждым годом беспощаднее и все более и более привыкавшего не церемониться ни с человеческой личностью, ни с обществом. Уже такие выражения, как вышеприведенные из письма к Ромодановскому, рельефно пока-

зывают всю глубину пренебрежения Петра к человеческому достоинству даже самого доверенного его лица, в котором он видел не более как живую машину для истребления крамолы, слишком переложившую в настраивающем на безжалостный лад напитке. Но Петр не ограничивался выражениями, хотя бы и очень крепкими: он частенько давал волю не только языку, но и рукам, от которых нездоровилось многим, попавшим под его неудержимый гнев, — особенно, когда в руках царя оказывалась знаменитая дубинка. От царских и притом очень частых побоев не ушли самые близкие к Петру люди — Лефорт и Меншиков. Тем менее Петр церемонился с другими, к которым не питал личной привязанности. Тут не только гнев, но и веселое расположение духа Петра давали большой простор для всякого рода унижений или, по куракинскому выражению, «ругательства» над удостоившимися царского внимания. На святках, во время славления с компанией по домам, особенно размашисто разгуливался своеобразный, но недобрый юмор Петра, выбиравший своими жертвами «знатных персон» и «старых бояр», когда, как сообщает князь Куракин, «людей толстых протаскивали сквозь стула, где невозможно статья, на многих платья дирали и оставляли нагишом, иных гузном яйца на лохани разбивали, иным свечу в проход забивали; иных на лед гузном сажали; иным в проход мехом надували». Конечно, все это производилось во время бесшабашной гульбы и пьянства, приводивших иногда Петра в состояние полной психической ненормальности, как, например, это случилось во время торжественного въезда в Москву после Полтавской виктории, когда Петр прямо поразил датского посланника Юста Юля⁴ своим видом и поведением: смертельно бледный, с уродливо искаженным конвульсиями лицом, производя «страшные движения головой, ртом, руками, плечами, кистями рук и ступнями», царь, в безумном исступлении, наскочил на оплошавшего в чем-то солдата и начал «безжалостно рубить его мечом». Сильное опьянение Петра и сопровождавших его, подчеркиваемое Юстом Юлем, несомненно, было ближайшей причиной такого патологического гнева. В атмосфере, наполненной вином, легко возникали вообще всякие эксцессы, в том числе и многочисленные «интриги амурные», в которых первым «конфидентом» Петра был «дебошан французский» — Лефорт, за то им и любимый. В делах любви и в отношениях к «метресिशкам», перебивавшим у Петра как единовременно, так и более длительно, он явился таким же реалистом-практиком, каким он вообще был к отношениям своих к служилому люду; за любовь он платил, хотя и умеренно, деньгами и подар-

ками, рассматривая и этого рода отношения, как бы службой себе, а когда платой жрица любви оказывалась недовольна, то он парировал такое указание тоже указанием, что за те же деньги ему «служат старики с усердием и умом»: «А эта, — сказал он однажды Меншикову, передатчику недовольства, — худо служила», на что его сотрудник и друг, такой же циник, как Петр, заметил: «Какова работа, такова и плата». Людям подобного пошиба, делившимся между собой предметами любви, вместе пившим и казнившим, естественно, было нипочем и неряшливое глумление над всем, что в обществе ценилось и почиталось как исконно-бытовые или морально-религиозные устои, но что мешало Петру в проведении в жизнь задуманного. Известное публичное обрезывание долгополого платья и бород у бояр, тем более всепьянейший собор со всешутейшим патриархом и с подобным же остальным причтом, с уставом служения Бахусу, «не менее», по словам Ключевского, обдуманном, чем «любой петровский регламент», с водочным «ящиком» в виде Евангелия, достаточно ярко свидетельствуют, что Петр, захваченный борьбой, постоянно раздраженный то заговорами и кознями, то пытками и казнями, то винными парами, был способен доходить до такого притупления элементарной совестливости, что его юмор переходил в прямое озорство. Царь чувствовал себя вне законов не только человеческих, исполнять которые он энергично учил своих подданных, но и божеских, и временами, в оргиозном или мстительно-одиозном состоянии, полагал, что для него нет ничего недозволенного... Это сделавшееся частым настроение Петра, вытекающая из отмеченных ближайших исторических и психических условий, было тем опаснее, что в сущности было лишь крайним и рельефным выражением привычного в Московской Руси отношения главы государства к своим подданным, холопам великого государя. Не сущность, а обостренная резкость этого отношения в обыденном и правительственном поведении Петра обуславливалась обстоятельствами его личной жизни и переживавшегося им исторического момента.

К констатированному настроению Петра так или иначе примыкает вся темная сторона его деятельности, та сторона, за которую его в народе называли «хульником и богопротивником», Антихристом. Указанные выше факты его поведения, а также многие другие, в особенности мстительность, которую Петр проявил при расправе со стрельцами, не побрезговав и на себя взять обязанность палача и кощунственно обогрив кровью казнимых останки старого заводчика стрелецкой смуты Ивана Михайловича Милославского⁵, семья которого Петр так радикально унич-

тожал; мстительность, которую он проявил в деле первой и второй супруги, а главное, своего несчастного сына, — воочию показывает, как далеко пошла порча личности Петра Великого, начатая в детстве, продолжавшаяся в юности и отложившая, в конце концов, на психике Петра такую толстую кору жестокости, несдержанности и всяких пороков, что лишь самые близкие к нему люди не усомнились в его способности к хорошим, гуманным порывам, а остальные, стоящие дальше от Петра, причислили его к отталкивающему типу деспотов и мучителей — наподобие Ивана Грозного.

Но в личности Петра была и другая сторона, заставлявшая близко узнававших его в чисто правительственной деятельности преклоняться и благоговеть пред ним не только как перед государем, но и как перед человеком. Это прежде всего быстро все схватывающий, широкий, к тому же эмоционально, деятельно настроенный ум, развивавший в Петре кипучую, — казалось, неукротимую энергию, пред которой приходилось пасовать самым энергичным людям.

Ум Петра справедливо считают гениальным, но не достаточно, кажется, определяют, в чем собственно заключалась эта гениальность. Поразительная, чрезвычайно редко встречающаяся способность переходить от привычных умственных ассоциаций к новым, — необычным для той же культурной среды, молниеносно входить во вкус этих новых ассоциаций, делать их своими собственными и самостоятельно создавать из них новые ряды и комбинации ассоциаций. — вот в чем состояла гениальность петровского ума. Люди обыкновенно с трудом, не без внутренней борьбы расстаются с привычными умственными ассоциациями, переход к новым заставляет страдать громадное большинство людей, стоящих даже выше среднего уровня, и они долго чувствуют себя неловко в сфере новых понятий и представлений. Петр не испытывал такого рода неприятных ощущений; он расставался с привычными ассоциациями и их сложными родами необыкновенно легко, без всяких усилий над собой, а во вновь усвоенные и присвоенные умственные построения проникался страстной верой, как в безусловно правильные, разумные и благодетельные.

Разумеется, раннее отторжение от привычного «чина» царского обихода и приобщение Петра к людям «всякого чина» и к иноземцам с иными понятиями, столь же разнообразными, как и этнографический состав Немецкой слободы, содействовали той умственной свободе, которая резко отличает Петра от его предшественников; но этим указанием не может быть исчерпано

объяснение: главная его часть должна пасть на долю цепкости, стремительной сообразительности и постоянно возбужденной силы петровского ума. Только при отмеченных свойствах ума и гениальной способности не по дням, а по часам превращаться из «московита» — в европейца не по внешности только, а по самому способу мышления и по умственным эмоциям, — из Петра и мог выйти такой Преобразователь России, каким он вышел.

В петровском уме, несмотря на громадную его чуткость и переимчивость, было много самостоятельности, основанной на крепком здравом смысле, на чисто русском «себе на уме». Поэтому, подпав под сильное влияние западно-европейской культуры, сперва в лице ее морских представительниц — Голландии и Англии, а потом и других, особенно Швеции и Германии, наш преобразователь старался держаться трезво по отношению к этой культуре, беря от нее лишь то, что подходило к состоянию России. В частности, «немцы», которых Петр, разумеется, не мог избежать, как учителей русского общества, вызывали в преобразователе наибольший критический отпор, — и Петр в указе в Синод «трудящимся в переводе экономических книг» свой совет сокращать немецкие сочинения не усомнился пояснить следующим беспощадным образом: «Понеже, — написал он, — немцы обыкли многими рассказами негодными книги свои наполнять, только для того, чтобы велики казались»...

Интересы *России, русского народа* были для Петра исключительными, единственными интересами, ради которых он жил и работал «в поте лица», «не покладая рук»; почему на первые места в государстве он ставил русского человека, своего, а не чужого, хотя бы свой и не был вполне подготовлен к порученному ему делу; значащего же и способного «немца» привлекал лишь на второстепенную, «техническую» должность.

Петр был продуктом русской почвы, местных условий; но впечатления, которые он получал от этих условий, он комбинировал по-своему, сообразно со складом, свойствами и настроением своего ума и с возникавшими в нем яркими образами, шедшими в конечном счете из западноевропейской культурной среды. Так, например, самое показное дело Петра — заведение постоянной европейского типа армии и флота — было определено раньше и имело уже прецеденты в ближайшем прошлом, но осуществлено оно было Петром вполне оригинально, по-петровски: царь из детской юношеской игры вывел это дело и, как бы продолжая играть, принял личное страстно-деятельное участие в утверждении и развитии этого дела, превращаясь то в бомбардира, то в барабанщика, то в капитана, то в корабельного

плотника, то в матроса, шкипера, адмирала. При крайней живости, восприимчивости и возбужденности ума, при способности с изумительной быстротой и находчивостью усваивать всякое дело и чувствовать себя свободно на всякой общественной ступени Петр вносил ту же ненасытную *личную заинтересованность* и в насаждаемую в России фабрично-заводскую промышленность; он стремился прежде всего сам усваивать всякое техническое производство и тем показал личный пример. Эту чертою и данная отрасль государственной деятельности Петра, несомненно, тоже примыкающая к предшествовавшим программам и опытам, отличается от этих последних, подобно тому, как сам Петр, марширующий с солдатами, работающий на верфи, приобретший массу технических навыков, усвоивший множество ремесел, считавший себя даже хорошим дантистом, отличается от предшествовавших ему русских государей.

Необъятная энергия, порождаемая в значительной степени указанным выше характером ума, — это второе, что заставляло и заставляет удивляться Петру, который старался всюду поспеть, во всем, начиная со спуска нового корабля или с собственноручного исправления первой русской газеты, духовного регламента, переводов с немецкого и кончая танцами на ассамблеях, — стремился принять личное участие, показать, научить, устроить. Никакое положение, в которое Петр себя ставил по своему желанию, не казалось ему странным, для него неподходящим, ибо ослепительный свет его разума сразу освещал необходимость и целесообразность задачи, как бы ни была она скромна, а личная склонность к работе и чарующая в царе простота делового, постоянно занятого человека моментально увлекали его к исполнению задачи. При этом его не останавливало ни место, ни время, ни его сан. На одной великосветской свадьбе сделалось душно: распорядившись на ней Петр не замедлил сейчас же собственноручно выставить окно принесенными, по его приказанию, инструментами. Точно так же легко и свободно, когда сделалось душно в московской азиатчине, он выставил или, по более решительному (хотя и несколько менее соответствующему действительности) выражению поэта, «прорубил окно в Европу». У Петра при головокружительной быстроте, с какой он переходил к новым представлениям, новому строю мысли, к вновь навертывающемуся делу, не было ничего заветного в том, что он оставлял позади себя. Он привык смотреть вперед, но отправлялся он, несомненно, от наличных условий, его подталкивавших и наводивших его мысль на ближайшие и отдаленнейшие перспективы.

События, пережитые Петром в детстве и юности во время борьбы с сестрой, центром которых явился государственный центр Москва, могли только создать в душе победителя антипатию к этому крамольному городу. Действительно, в его древнем Кремле нельзя было считать себя в полной безопасности; это в свое время остро почувствовал Иван Грозный, когда оставил кремлевские стены и засел в Александровской слободе за ее стенами, примыкавшими к дремучему лесу, а не к дышащему изменой и мятежом громадному городу. Петр в большей мере, чем Грозный, мог чувствовать себя неловко в Кремле, в котором он избегал жить. Но после бегства к Троице не мог он быть спокойным и в Преображенском, обильно политом кровью его врагов. А потому, как только его оружие доставило ему финское побережье со вновь строившимся там, по его собственной инициативе и плану, городком Петербургом, то он не преминул сейчас же перенести туда свою резиденцию, без сожаления заменив старый государственный центр в точном смысле этого слова, город, лежащий именно в середине народного организма, новым, условным центром — сбоку этого организма, почти оторванным от него, но примыкающим к морскому простору, куда открывался всякий выход. И к этому условному государственному центру Петр не усомнился притянуть всю великую, раскинувшуюся на многие тысячи верст на Восток страну... Своим гениальным взором окинув эту страну из края в край, он понял, что она не окажется признать новый центр, — и Петр вполне проникся новыми ассоциациями идей, связанными с перенесением столицы к Балтике.

Аналогичным психологическим процессом, надо думать, сопровождалась и замена патриарха духовной коллегией, св. Синодом, с полным юридическим подчинением церковного правительства светскому.

Старомосковское ультраортодоксальное содержание мысли и самый строй мышления не подходили к той иноземной атмосфере, которою дышал Петр, — и он, усматривая, каким тормозом для его начинаний явится все московское мировоззрение в лице властного его представителя патриарха, вспоминая о тех затруднениях, какие доставил его отцу патриарх Никон своими папистскими домогательствами, — с особенною любовью сосредоточился на новых для него протестантских представлениях о взаимных отношениях государственной и церковной властей, страстно впитал в себя и присвоил себе эти представления, которые не только легли в основу Духовного Регламента и указа о монашестве и монастырях, но и послужили идейной базой жгучей ненависти к старому центру.

висти и презрения Петра к монахам, «бородачам», коим он обещал «очистить» «путь к раю хлебом и водою, а не стерлядями и вином». С таким сарказмом относясь к черному духовенству, Петр считал его «корнем» «многого зла»... Этому «злу», испытанному с детства и омрачившему всю жизнь Петра, лишившему его первенца-сына, Петр противопоставлял не один застенок и плаху: против «зла», как бы в оправдание политой в борьбе с ним крови, он выдвинул тот созданный им ряд новых и притом возвышенных умственных ассоциаций, господствующей идеей которого была идея «Отечества». «Враги» «пакости» Петру устраивали «демонские», он их казнил, но не столько ради себя, сколько ради «Отечества», явившегося, таким образом, в его сознании щитом, которым он прикрылся от человеческих обвинений и терзаний своей совести. И чем дальше шло время, тем сильнее сживался он с идеей «Отечества» и проникался бескорыстной любовью к нему, которая все более и более воодушевляла его к работе на государственную и народную пользу и заставляла притягивать к этой работе всех подданных без различия сословий, религий и народностей. Ни один из его предшественников не прилеплялся так к идее Отечества и к тем представлениям, которые вытекали из этой идеи. Доминирующим из них было представление о том, что царь — первый работник и слуга государства. Думая так, Петр смело встал близко к остальным работникам и слугам, к войску и народным массам, рядом с ними, — а в этом причина, почему, несмотря на то, что многие петровские указы «писаны как будто кнутом» (Пушкин), страна примирилась с Петром и назвала его Великим. Ради Отечества Петр казнил, заводил армии, строил корабли, был плотником и матросом, усердно собирал копейку — «артерию войны». Думая об Отечестве, он мечтал о его великом будущем, когда государство русское явится не только сильным и богатым, но и высококультурным, когда в нем будут процветать наука и искусство. Ряд таких ассоциаций не менее был свойственен Петру, чем чисто ремесленные его представления и вкусы: своим живым, остропроницательным умом он оценил значение и теоретического знания, просвещающего ум и расширяющего его горизонты, и значение искусств, лишь украшающих жизнь, без какой-либо иной, прикладной, утилитарной цели. Донесшаяся до потомства его беседа о движении наук, его заботы об учреждении Академии наук, о переводе книг теоретического, научного и философского содержания, о составлении русской истории, и в частности истории его времени, переписка с Лейбницем и разные сноше-

ния с выдающимися представителями ученого западноевропейского мира, покупка анатомических и зоологических коллекций, учреждение Кунсткамеры, или музея «раритетов» для публики, привлекаемой сюда угощением, и тому подобные факты неопровержимо доказывают, как широк был размах рождавшихся в уме Петра планов о работе для преуспевания любимого им Отечества. Зоркая мысль и наблюдательность развили в Петре и присущий ему от природы эстетический вкус, и в бытность свою за границей, работая на верфи, бегая по фабрикам, посещая анатомические, зоологические и другие ученые кабинеты, Петр не прошел своим вниманием и картинные галереи, результатом чего было приобретение картин, преимущественно фламандских и брабантских. Искусство должно было сыграть свою цивилизующую роль в будущей культурной России, которая столь ярко грезилась Петру, что он как бы лично переносился в нее; во всяком случае несомненно, что в своих думах, о которых мы можем догадываться по начатым или только намеченным, чисто культурным его насаждениям, Петр значительно опережал свою эпоху. В этом коренная разница между ним и Иваном Грозным, убежденным в том, что «в каких землях какие обычаи есть, отменять их не годится». Петр, будучи сыном своей эпохи, человеком грубым и неряшливым, обходившимся большей частью без ножа и вилки, которому было в обычае прямо перебросить рукой пищу угощаемому на противоположный конец стола или на водах так лечиться, что с воды, по его словам, «брюхо одуло», или, наконец, допускать крайнюю грязь в отношениях и переписке со своей супругой Екатериной, однако был убежден в необходимости изменить обычаи к лучшему и радовался тому, что «очередь» усвоения наук, искусств и образа жизни просвещенных народов дошла до России. Лучшими сторонами своего ума и характера Петр был государственным человеком будущего, не величавшимся своим высоким положением, а смотревшим на него, как на удобное поприще для труда на общее благо. «На подписях, — писал Петр одному из своих сотрудников, — пожалуй, пишите просто, также на письмах, без великого». Труд, дело были для Петра на первом плане: всех он звал на работу, показывая собой пример и проявляя при этом самую широкую веротерпимость, — черту, тоже не свойственную его предшественникам и большинству общества его времени: «По мне будь крещен или обрезан — едино, лишь будь добрый человек и знай дело», — писал он. Его идеи и цели были шире его деятельности, по необходимости суженной бурными и трудными

внутренними и внешними условиями и событиями эпохи. Словом, смело можно сказать, что Петр велик не только тем, что он сделал, но еще более тем, что он намечал, но чего сделать он или не успел, или не мог по неблагоприятным условиям исторического момента и по условиям его личной жизни.

Жизнь, испорченная с самого начала, портилась и потом. Сам Петр своим необузданным темпераментом поведения способствовал этой порче, начавшей выражаться в тяжелых болезненных припадках — физических и психических. Временами, в критические минуты, нервы, находившиеся в постоянном напряжении и возбуждении, по-видимому, испытывали страшное переутомление, и Петр впадал в отчаяние, как это случилось с ним при Нарвском поражении и на Пруте; но свойственная ему богатырская энергия как следствие его сильного и находчивого ума брала верх над упадком духа — Петр выпутывался из беды, еще усиленнее принимаясь за работу и за свои бурные, освещаемые фейерверками и пушечными выстрелами развлечения... Однако с течением времени начались длительные недомогания, а неудержимый гнев, посещавший Петра, стал сопровождаться не только дрожанием головы, но и ужасными эпилептиформными припадками (один из которых видел Юст Юль в 1710 г.), ближайшим предвестником которых было судорожное подергивание рта и которые сопровождались страшною головною болью; лишь его супруга Екатерина была способна умелым обращением с ним предотвращать припадок безумного гнева и тем спасти окружающих иной раз от несчастных его последствий, а самого Петра от следовавшего за припадком тяжелого недомогания. Такого рода припадкам, свидетельствующим, в какой серьезной мере было подорвано физическое и психическое здоровье Петра, обыкновенно предшествовала меланхолия, возникавшая у него от навязчивого представления об опасности, угрожавшей его жизни, — естественный результат страхов, которых он натерпелся в детстве и юности и которые повторились и в зрелом возрасте. Оглядываясь назад, он видел в своей жизни одни беды, и в печальное для него время следствия над его сыном Петру стало жалко самого себя, столько вытерпевшего: «Едва ли кто из государей, — говорил он однажды в такую минуту Толстому, — сносил столько бед и напастей, как я. От сестры был гоним до зела: она была хитра и зла. Монахине несносен: она была глупа. Сын меня ненавидит: он упрям». Петру было очень тяжело в такие минуты: весь обрызганный кровью, он видел, что и в дальнейшем предстоит кровь, ибо, очевидно, нет конца «бедам и напастям».

«Страдаю, — жаловался этот сильный человек, — а все за Отечество...» Последнее оставалось единственным утешением и оправданием. Но и это утешение оказалось непрочным. Под конец жизни Петру суждено было испытать чувство одиночества в своем служении Отечеству. Тщетно призывал он к бескорыстной службе государству, тщетно рассыпал ужасные удары вокруг себя по казнокрадам и всяким недобросовестным служакам, призвав на помощь топор и виселицу и рассчитывая, что если слуги государства не привыкли служить ему за совесть, то будут служить за страх: ничто не действовало... Нечего и говорить о повседневном воспитательном орудии — знаменитой дубинке, о недействительности этого средства поведал сам Петр, сказав: «Кости тчу я долотом, а не могу обточить дубиною упрямец». В числе их был и Меншиков, к которому Петр долго чувствовал слабость, «род недуга», и которому, вопреки своему правилу, долго спускал нечестное собрание «treзоров» (сокровищ. — кн. Куракин). Но тот не унимался и, наконец, вывел Петра из всякого терпения. Одновременно с открывшимися в 1724 г. большими злоупотреблениями бывшего друга Петра и его жены, открылись обман и измена в самом царском доме: провинилась пред Петром его вторая супруга, им коронованная (7 мая 1724 г.). Немудрено, что Петр окончательно потерял веру в людей, даже в самых близких, пришел к сознанию безнадежности своего одиночества и впал в отчаяние. Но это был уже последний момент его жизни. Такой человек не мог жить со скрытым в душе отчаянием, — и он умер (28 января 1725 г., в начале 6 часа пополудни, на 53 году от роду). Об отчаянии же Петра мы догадываемся по тому, как он умирал. По-видимому, в эти минуты Петр опять и теперь в последний раз потерялся настолько, что не совершил самого важного дела, какое оставалось государю сделать перед кончиной, — не назначил себе преемника. Очевидно, кровавая, нетрезвая и отягченная трудами, заботами и гигантскими замыслами жизнь вызвала весьма сильную и выразительную реакцию во время последней болезни: ослабев телом, царь Петр пал и духом.

Говорят, когда к умирающему Петру явились два архимандрита из Чудова монастыря и «стали его увещать», то царь, столь не любивший при жизни «бородачей», в этот миг сделал «знак, чтобы его приподняли и, возведши очи вверх, произнес засохлым языком и невнятным голосом: «Сие едино жажду мою утолит; сие едино услаждает меня». Верный, хотя и строптивый сын Православной Церкви, Петр смягчился и как бы примирил-

ся с нелюбимыми им ультраортодоксальными тенденциями; ибо в этот страшно мучительный для него предсмертный момент единственный раз в жизни он смотрел уже не вперед, а вверх и там видел престол Всевышнего, а не русский императорский престол, который потому и ускользнул из сферы воли Петра (так высоко им поставленной в приложении именно к этому вопросу) — и был оставлен на произвол случая.

